



18+

Александр Подрабинек
Диссиденты

«Интеграция или выжить? Верность или слабость? Правильность или продуктивность? Достойный выбор в СССР был невозможен сначала свободой, потом горем.»

Александр Пинхосович Подрабинек

Диссиденты

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6691830
Диссиденты: АСТ; М.:; 2014
ISBN 978-5-17-082401-4

Аннотация

Это книга воспоминаний о диссидентской Москве 1970–1980-х. Ее автор – Александр Подрабинек – активный участник правозащитного движения. В 1978–м был арестован по обвинению в клевете на советский строй и сослан на 5 лет в Северо-Восточную Сибирь. В 1979 в США вышла его книга «Карательная медицина». В 1980–м вновь арестован и приговорен к 3,5 годам лагерей.

«Эмиграция или лагерь? Верность или слабость? Преданность или предательство? Достойный выбор в СССР был невелик: сначала свобода, потом тюрьма».

Содержание

Как бросить курить и начать писать мемуары	4
Часть I	6
Детство	6
Пушкинская площадь	7
Электросталь	10
Москва	13
Человек свободы	15
Московские будни	16
Три товарища	19
Дамы из прошлого века	21
Писательский зуд	28
Нетерпение	32
От иллюзий к делу	34
Психиатрия: первые шаги	38
«Узнаёшь брата Сашу?»	41
1977. Таллин. Новый год	45
Беляевский треугольник	46
Наш ответ Чемберлену	50
Поездка в Сибирь	52
Империя наносит ответный удар	57
Запад – Восток	61
Cherchez la femme	63
Генеральная репетиция	65
Прощай, оружие!	69
Искусство допроса	71
Корреспонденты и дипломаты	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Александр Подрабинек

Диссиденты

Как бросить курить и начать писать мемуары (вместо предисловия)

Как-то в ПКТ – внутрилагерной тюрьме – очень короткое время я сидел в общей камере. Как бы каникулы от одиночки. И вот сидим мы в камере, шесть мужиков, о еде – ни слова, о женщинах – тем более. И все стонут – покурить бы. Нет курева, уши пухнут. Наконец камерный весельчак Паша-армян развел надзирателя на две пачки сигарет. На спор. Подзывает его к кормушке:

– Ты какого года рождения?

– Пятьдесят девятого, – отвечает крошечного роста молодой дубак с большими ушами по кличке Миклухо.

– Не может быть, ты не такой старый, – заводит его Паша.

– Да точно, – отвечает Миклухо.

– Не верю. Давай спорить, что ты врешь! На две пачки сигарет.

– Да чо спорить – я чо, не знаю, когда родился?

– Ну так спорим?

Поспорили. И тут умный Паша говорит глупому Миклухе:

– Ты не пятьдесят девятого года рождения, а тысяча девятьсот пятьдесят девятого! Ты же больше, чем на тысячу лет, никак не выглядишь!

Сигареты наши! Надолго ли... И тут я решаю: надо бросать курить. Во-первых, независимость – от привычки, от ментов, от денег. Во-вторых, пощажу легкие – уберегусь от туберкулеза. Паша тоже решил бросить. Мы договорились так: в первый день выкуриваем пять сигарет, во второй – четыре, и так далее до пятого дня. На пятый день выкурили по одной и бросили. А чтобы не получилось, как у Марка Твена, который «сам бросал десятки раз», договорились под четыреста присядок. Кто-нибудь пробовал присесть четыреста раз кряду? И на вольных харчах трудно, а на тюремных – практически невозможно. Но мы в уголовном мире, проиграл – плати. Иначе... Поэтому лучше не проигрывать.

Я недолго отдыхал в общей камере и скоро вернулся в свою одиночку. Не буду описывать, какой пробуждается аппетит, когда бросаешь курить. Да на тюремной баланде. Но я терпел. После череды карцеров и одиночки я бы и ста раз не присел. Недели через две выхожу вечером в коридор наполнить бачок питьевой водой, надзиратель где-то замешкался, а я тем временем поднимаю глазки в камерах, здороваюсь, перекидываюсь парой словечек с зэками. В одной камере вижу: лежит Паша на верхней шконке и курит! Я ему кричу: «Паша, четыреста присядок за тобой!» Паша в ауте: «Ай, Декабрист поймал меня!» (У меня в лагере кликуха была – Декабрист.) И что самое забавное: Паша только что проиграл двести присядок в карты, присел половину и лег передохнуть с сигареткой в зубах. Тут-то ему и прилетело еще четыреста. Но Паша был славный парень, и я скостил ему долг – до двух раз по двести. Он после этого все посматривал за мной – не курю ли?

Следующие пятнадцать лет я не курил. Иногда очень хотелось. Одно останавливало – вдруг Паша узнает? На пересылках всем все известно. И я держался.

Так к чему я это? А к тому, что, выражаясь по-лагерному, за базар надо отвечать. И дернул же меня черт осенью 2008 года поддаться уговорам начать писать мемуары. Пообещал

Игорю Губерману. Теперь приходится выполнять. Губерман ведь тоже бывший зэк, вдруг предъявит?

Часть I

Детство

Все началось с радиолы «Кама» – с прекрасными белыми клавишами, которые издавали восхитительный звук при переключении диапазонов. Мы жили небогато, и покупка была значительной. Но папа решился. Мы притащили «Каму» домой, включили, нашли «Голос Америки» и первое, что услышали, – песню Булата Окуджавы про бумажного солдата. Это было в середине 60-х годов.

Мы жили втроем: папа, брат Кирилл, который годом меня старше, и я. Мама наша умерла от рака желудка, когда я был в первом классе. Папа очень любил ее и удержался в жизни только из-за нас. Со временем боль притупилась, и он иногда спрашивал нас, а не жениться ли ему вот на этой, а потом – вот на этой? Мы с братом всякий раз морщились, не понимая, зачем нужна в доме чужая женщина, когда нам и втроем хорошо.

Мы часто говорили о политике, много спорили. Радиола «Кама» внесла в наши споры осмысленность – мы стали получать настоящую информацию из передач западных радиостанций. Мне было тринадцать, брату – четырнадцать, и мы уже понимали, какая ложь окружает нас в школе, на улице, в кино. С детским азартом мы все проверяли на подлинность и с восторгом убеждались в собственной правоте.

О демонстрации, прошедшей 5 декабря 1966 года на Пушкинской площади, мы узнали, конечно, тоже по западному радио. И тогда же решили, что в следующем году обязательно пойдём туда и примем участие. 5 декабря 1967 года рано утром мы выехали на электричке из своей подмосковной Электростали в Москву. Нас было четверо – с нами был Юра, школьный приятель Кирилла. Единственная проблема – мы не знали, в какое время состоится демонстрация. Радио не сообщало об этом. Мы почему-то решили, что самое разумное – в полдень. Купили цветы, приехали на Пушкинскую площадь. Она не была оцеплена, как мы ожидали, но обилие милиции и характерных людей в штатском не оставляло сомнений – ждут демонстрантов. Тем временем, увидев, что делается на площади, Юра испугался и ушел. Однако демонстрантов никаких не было, только мы. Отступить было невозможно. Мы подошли к памятнику, положили цветы на пьедестал, сняли шапки и некоторое время постояли молча, ожидая, что нас вот-вот утащат в КГБ. На нас действительно обратили внимание, но никто никуда не потащил. Мы спокойно ушли оттуда. Специально не оглядывались. Перевели дух, только проехав несколько станций метро. Вечером из передач западного радио мы узнали, что демонстрация состоялась, но только прошла она в шесть вечера.

Мне было четырнадцать лет, и это была моя первая победа. Не над коммунистической властью, конечно, а над самим собой, над своим страхом, над своей уверенностью в неизбежности ареста.

Пушкинская площадь

Первая демонстрация на Пушкинской площади прошла 5 декабря 1965 года с требованием гласного суда над Синявским и Даниэлем. С тех пор демонстрации проводились там каждый год. Хорошее место. Достаточно большое, чтобы там могли собраться сотни две протестующих, и достаточно маленькое, чтобы демонстранты не потерялись на огромной площади.

Ритуал был всегда один и тот же – ровно в шесть вечера диссиденты снимали головные уборы в память о погибших и сидящих сегодня политзаключенных. На декабрьском морозе было сразу ясно видно, кто пришел протестовать, а кто – хватать протестующих или просто полюбопытствовать.

В начале 70-х годов на Пушкинской площади 5 декабря я впервые увидел Солженицына. Он стоял рядом с Сахаровым, и оба были на голову выше остальных.

На площади в этот день всегда было множество западных корреспондентов, и власти долгое время стеснялись устраивать погромы. КГБ и оперативный комсомольский отряд МГУ заполняли площадь, выхватывая из толпы и на подходе к площади тех диссидентов, которых знали в лицо. Некоторых держали в милицейских машинах, других отвозили в отделения милиции, кого-то просто катали по городу, пока не закончится демонстрация. Иногда мелко пакостили. Американскому корреспонденту Джорджу Крымски как-то прокололи все четыре колеса его автомобиля, припаркованного неподалеку от площади.

В 1976 году традицию молчаливой демонстрации нарушила Зинаида Михайловна Григоренко, жена генерала Петра Григоренко¹. Она произнесла небольшую речь о наших политзаключенных, и никто не посмел ее арестовать. Однако вслед за этим началась потасовка. Главной мишенью оказался Андрей Дмитриевич Сахаров – оперотрядники и чекисты начали бросать в него полиэтиленовые пакеты с песком и грязью с тротуара. Потом дело дошло до рукопашной. Виктор Некипелов² и я оказались рядом с Сахаровым, в небольшом темном закутке на периферии площади, и так не слишком хорошо освещенной. Андрей Дмитриевич был к потасовкам не приспособлен, и мы с Виктором отбивались за троих. Им, однако же, удалось свалить Сахарова в снег, а какой-то боров в штатском еще и лег сверху, придавив его к земле. Я стал поднимать Сахарова за руку, спихнув борова на землю и крепко упираясь ногой ему в живот, отчего тот согнулся пополам, но затем я получил сзади сильный удар по затылку и на некоторое время отключился. Меня потащили к милицейской машине, но тут подоспели Некипелов и кто-то еще из наших, кажется, Юра Гримм³, и меня отбили. Сахаров тем временем сумел подняться и присоединиться к основной группе диссидентов на площади, где его взяли в кольцо и отвели к машине кого-то из западных корреспондентов. Больше Андрей Дмитриевич в демонстрациях на Пушкинской площади не участвовал.

В 1977 году была принята новая Конституция и ситуация изменилась. Не с правами человека, а с датой праздника. День Конституции перенесли с 5 декабря на 7 октября. Среди московских диссидентов начались жаркие споры, в какой день теперь выходить на традиционную демонстрацию: 7 октября, в новый День Конституции, или 10 декабря, в День прав человека? В конце концов международная дата победила советскую.

Однако КГБ начал действовать жестче, и 10 декабря многие известные диссиденты с самого утра были заблокированы в своих квартирах. Других забирали на подходе к Пуш-

¹ Петр Григорьевич Григоренко (1907—1987) – генерал-майор Советской армии, начальник кафедры военной кибернетики Военной академии им. Фрунзе, политзаключенный, член Московской хельсинкской группы (МХГ).

² Виктор Александрович Некипелов (1928—1989) – врач-фармацевт, поэт, публицист, член МХГ, политзаключенный.

³ Юрий Леонидович Гримм (1935—2011) – политзаключенный, член редколлегии самиздатского журнала «Поиски».

кинской площади. Тем не менее несколько десятков человек все же добрались до памятника и провели традиционную молчаливую демонстрацию.

Меня, как и многих других, с утра блокировали в квартире. Я тогда жил у моего друга Димы Леонтьева⁴ на Новоалексеевской улице, в двух шагах от метро «Щербаковская». Собственно говоря, блокировать меня было и не надо – уже много недель за мной ходила наружка, фиксируя каждый шаг, каждый разговор, дыша в затылок и наступая на пятки. На сей раз несколько чекистов вышли из машин и расположились в подъезде.

У нас, как всегда, собралось много друзей. Вот ситуация: сидим в квартире и понимаем, что, если попытаемся поехать на Пушкинскую, – заметут. Можно сидеть, потому что «нас заблокировали». Можно пойти и провести время в отделении. Кто сказал, что в СССР нет свободы выбора? Выбор всегда есть. Сидеть в милиции – пошло и скучно. Сидеть дома – значит принять навязанные нам правила игры. Мы с Таней Осиповой⁵ решаем идти напролом – и будь что будет. Выходим из квартиры. Кто-то из чекистов моей наружки уже в подъезде предупреждает: «Да не ходите вы туда, бесполезно». В самом деле, не успеваем пройти ста метров до метро, как нас запикивают в машины и отвозят в милицию. Освобождают только часов в десять вечера.

Много лет спустя до меня дошел документ КГБ СССР из архива ЦК КПСС. Назывался он «О срыве враждебной акции антиобщественных элементов», был датирован 11 декабря 1977 года и подписан председателем КГБ Юрием Андроповым. В этой двухстраничной записке о прошедшей накануне демонстрации Андропов информирует членов ЦК, что «наиболее активные экстремисты и лица, склонные к участию в массовых собраниях, взяты под строгий контроль». В результате чего «никто из инспирированных провокации на площади Пушкина не появился». До сих пор не понимаю, кого они обманывали – себя, друг друга? Какие еще инспирированные? Да ведь и демонстрация состоялась!

Похоже, идеологические клише заменяли им информацию даже в общении друг с другом. В той же записке Андропов пишет: «Подготовка к такой акции активно обсуждалась среди экстремистских элементов из числа сионистов, на квартирах Сахарова, жены арестованного Гинзбурга и в других местах. Особенно настойчиво стремился осуществить эту затею активный еврейский экстремист Подрабинек».

Разумеется, КГБ прекрасно знал, что я не активист еврейского движения. Что же заставляло их врать даже в своем кругу, в своих секретных документах?

Традиция декабрьских демонстраций на Пушкинской площади не прерывалась. Каждый год туда кто-то приходил, в каком бы удручающем положении ни было демократическое движение. Хорошо помню 10 декабря 1986 года. Это был тяжелый, хмурый день. Накануне стало известно о гибели в Чистопольской тюрьме Анатолия Марченко⁶. Настроение было паршивое. Все разговоры о гласности, о перестройке казались фальшью.

На демонстрацию мы решили ехать вместе с отцом – как девятнадцать лет назад, когда поехали на Пушкинскую площадь в первый раз и тоже вместе. Я жил тогда во Владимирской области, в городе Киржач, где поселился после освобождения из лагеря. С вечера КГБ обложил наш дом – одна машина в конце улицы, по дороге на автостанцию, другая – у перекрестка, на пути в центр города. Было ясно: заберут в милицию, продержат до вечера. И все-таки мы встали рано утром, в начале пятого, рассчитывая, если повезет, уехать в Москву с пятичасовой электричкой. Было морозно и темно. Уличные фонари покачивались на ветру, едва освещая дорогу. В конце улицы стояла гэбэшная «Волга», носом к проезжей части,

⁴ Дмитрий Анатольевич Леонтьев (1955—1982) – пианист, писатель, участник демократического движения в СССР.

⁵ Татьяна Семеновна Осипова – член Московской хельсинкской группы, политзаключенная.

⁶ Анатолий Тихонович Марченко (1938—1986) – политзаключенный, писатель. Погиб в Чистопольской тюрьме.

чтобы можно было выхватить светом фар каждого прохожего. Но фары были потушены. В машине все спали, откинувшись на подголовники. Мы молча прошли мимо, потом рассмеялись: пять часов утра – самое сладкое время для сна. Нужен очень сильный мотив, чтобы пожертвовать таким невинным удовольствием. У нас он есть, у них – нет.

В Москве отец пошел по своим делам, и мы договорились встретиться ровно в шесть часов на Пушкинской. Вечером мне удалось беспрепятственно дойти до площади. Она была запружена милицией и гэбнёй. Ни одного знакомого лица. Без пяти шесть начал подбираться к памятнику. Очень быстро меня остановили два человека в штатском и офицер милиции.

– Вы куда? – спросил меня офицер с раздражением в голосе.

– А вам какое дело? – вежливо отозвался я.

– Вам придется пройти с нами в отделение милиции, – встрял в разговор широко улыбающийся и чем-то очень довольный человек в штатском.

– С какой стати? Для чего?

– А для установления личности, Александр Пинхосович, – не без юмора ответил гэбшник и еще шире улыбнулся.

– Ну вот, вы же и так меня знаете, – пытался я призвать его к логике.

– Конечно. А теперь еще и устанавливать будем.

Разговор стал совершенно бредовым. Я просидел в 108-м отделении милиции несколько часов и еще успел на последнюю электричку в Киржач.

Последний раз я принял участие в традиционной декабрьской демонстрации в 1987 году. Это было уже начало новой эпохи. Власть решила поменять стратегию – чтобы удерживать протесты в безопасном для нее русле, надо было их возглавить. 10 декабря они устроили на Пушкинской площади митинг в ознаменование Дня прав человека. Разумеется, в шесть часов вечера. Площадку вокруг памятника Пушкину оцепила милиция. Пройти внутрь можно было только по пропускам. Выступали казенные ораторы, произносили казенные речи. Я и еще несколько человек, также не сумевшие подойти к памятнику и оставшиеся за цепью, ровно в шесть часов вечера сняли шапки. Партийные пропагандисты в это время говорили о перестройке, о новой политике гласности и перспективах социализма. Происходящее походило на фарс. Мне было невыносимо противно слушать эту ложь. Было обидно за Пушкинскую площадь, за 10 декабря, за нашу демонстрацию, в которой я начал участвовать двадцать лет назад.

Электросталь

Как попадали в демократическое движение? Это в комсомол или партию надо было писать заявление, а в диссидентскую среду можно было попасть только шаг за шагом, постепенно завоевывая репутацию и признание. Никаких формальностей не было, потому что не было единой организации. В этом была сила движения. Организованную группу было бы гораздо легче разгромить, хоть легальную, хоть подпольную. Такие группы все же были, и они действовали с разной степенью успешности. КГБ был натаскан на поиск организованного сопротивления. Чекисты занимались этим десятилетия, со времен Дзержинского. Но как бороться с людьми, которые не скрываются, они не знали. Они этого не понимали.

Мы жили в подмосковном городе Электросталь, куда родители переехали из Москвы в начале 50-х годов. Причины бегства из столицы были просты. Папа был врачом и к тому же евреем. Кампания «против космополитизма» и «дело врачей» оставили его без работы. В Электростали, рабочем городе с тремя большими заводами и сотысячным населением, работа нашлась. Папа был участковым в поликлинике, подрабатывал спортивным врачом на стадионе «Авангард», преподавал микробиологию в медицинском училище в Ногинске, занимался частной практикой – лечил гипнозом алкоголиков. Иногда даже давал сеансы гипноза в городском клубе.

В десять лет я вступил в пионеры. За какую-то провинность отец хотел наказать меня – не пустить в Москву на церемонию торжественного приема в пионеры. Я чуть не плакал. Папа смиростивился, я поехал со всеми. Принимали в пионеры нас в музее Ленина на Красной площади, а перед этим повели в мавзолей Ленина. Странное и мрачное место. Мы тихо шли гуськом вокруг прозрачного саркофага с таким великим и таким мертвым вождем пролетариата, замороженно глядя на забальзамированный труп. На какой-то ступеньке я споткнулся, и мне показалось, что саркофаг с Лениным сдвинулся с места, а Ленин в своем гробу пошевелился. Это было ужасно.

Всю обратную дорогу домой мы спорили, из чего сделан саркофаг. (Позже мои коллеги по «скорой помощи» рассказывали, как они ездили в мавзолей на вызов, когда какой-то смертник взорвал там бомбу. Сколько погибло человек вместе с этим бомбистом, определить было невозможно – части тел и внутренности были размазаны по стенам; взрывная волна в маленьком помещении с гранитными стенами превратила всех в кровавое месиво. Но с саркофагом не случилось ровно ничего.)

Первые год-два я носил пионерский галстук с радостью и гордостью. Потом меня стали мучить вопросы. В летнем пионерском лагере мы разучивали песню:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих,
Близится эра светлых годов,
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Я пел нехотя, и наша пионервожатая, студентка педвуза с большой грудью и ласковыми глазами, поинтересовалась, что со мной.

– Я не могу петь это, – тихо ответил я.

– Почему? – спросила пионервожатая.

– Я – не дети рабочих, – ответил я стеснительно и без всякого подвоха. Увидев, что она меня не понимает, я добавил: – У меня папа врач, а мама умерла.

Пионервожатая некоторое время смотрела на меня удивленно, а потом сказала:

– И очень хорошо, что врач. Ты из-за этого стесняешься петь?

Мне было уже неловко, но я решил все-таки поделиться с ней еще одним тревожившим меня вопросом. Мне было непонятно, что такое «близится эра светлых годов»? Всякий текст я понимал буквально. «А что, – спросил я вожатую, мучаясь от неловкости, – разве сейчас эра темных годов?»

Пионервожатая как-то странно усмехнулась. Видимо, эта мысль была для нее внове. Вздохнув, она сказала мне совершенно по-дружески:

– Да ты не думай об этом. Пой, как артисты поют. Они же не всегда о себе поют или что им нравится, они просто исполняют, так ведь?

Я согласился, но пел все равно через силу. Я не понимал, какая сейчас эра и что плохого в том, что я не «дети рабочих».

Так постепенно пионерское детство и закончилось. Скоро свои галстуки мы забросили за шкаф. С детством кончились и игры.

Вся городская интеллигенция знала друг друга. Постепенно сложился круг общения. Самые близкие друзья начали делиться самиздатом. Это была очень весомая добавка к передачам западного радио. Это было свое – настоящее, рискованное, о чем нельзя болтать со школьными приятелями, а иногда и говорить вслух. Я был в восторге и очень гордился доверием взрослых.

Мы с братом не были комсомольцами – единственными в своих классах. Для старшеклассников это было исключительным явлением. В школе к нам относились подозрительно. В младших и средних классах на нашу фронду мало обращали внимания. Отказ вступить в комсомол школьное руководство могло объяснить двумя причинами: либо мы баптисты, либо откровенные враги. Мы предоставили возможность нашим преподавателям, партийным и комсомольским вожакам решать этот вопрос без нашего участия.

В городе действительно была незарегистрированная баптистская община. Ходили слухи о милицейских облавах в домах баптистов, об арестах молодых людей, отказывающихся по религиозным соображениям служить в армии. Как-то город облетела страшная весть: молодого баптиста, работавшего на металлургическом заводе, призвали в армию, он отказывался, ему угрожали арестом, и, доведенный до отчаяния, он прыгнул в чан с расплавленным металлом. Говорят, заводское начальство сокрушалось, что плавка оказалась испорчена из-за повышенного содержания углерода...

Однако нас с братом в баптисты не записали. Мы были враги. Но ухватить нас было не за что. Языки у нас были хорошо подвешены, аргументы в спорах друг с другом отточенны, и повода придраться мы не давали. Разве что Кирилл в 1968 году в школе при всех неодобрительно высказался о советской интервенции в Чехословакии. Получился скандал, который, однако, замяли после того, как брат указал завучу школы и по совместительству парторгу, что это именно он пострадает за плохую воспитательную работу. В целом же мы вняли увещаниям отца, что нам прежде всего необходимо окончить школу и получить аттестат. Папа к тому же готовился защищать докторскую диссертацию, что тоже обязывало нас вести себя не слишком вызывающе.

Тем не менее в трудные моменты папа нас всегда защищал. В восьмом классе моя классная руководительница Нина Павловна Чуканцева на классном собрании начала выяснять, кто что сделал для построения коммунизма в нашей стране. Каждый изворачивался, как мог, и все это выглядело очень глупо. Дошла очередь и до меня. Я честно ответил, что ничего не сделал, и уже примирительно добавил, что вот, учусь и этого, кажется, достаточно.

Нина Павловна тут же потребовала мой дневник и на его полях размашисто написала папе записку, что я неправильно отношусь к построению коммунизма и на это следует обратить родительское внимание, поскольку идеологическое воспитание явно хромает. Папа написал в ответ одно слово «Чепуха!» и подписался. Я специально смотрел на реакцию классной, когда на следующий день отдавал дневник с папиным ответом. Она побагровела,

стала совершенно пунцовой, но ничего не сказала, потому что говорить было некому. Дома мы шутили, что теперь папе поставят двойку по поведению и вызовут в школу бабушку.

В десятом классе я стал готовиться поступать на биофак МГУ, упрямо игнорируя уверения взрослых, что для поступления евреев в университет определена жесткая квота и мне туда не пробиться. Можно было, конечно, и не быть евреем. Мама – русская, папа – еврей, выбирай что хочешь. Мы выбрали быть евреями, даже не обсуждая этого, – иное казалось неприличным. Быть вместе с угнетенными – это естественно. Начальник паспортного стола, выдавая мне паспорт, долго недоумевающе смотрел на меня, когда я ответил, что в третьей графе действительно прошу написать «еврей». Он искренне ничего не понимал.

Потом я всем говорил, что я еврей из чувства противоречия. При этом забавно, что русские не считают меня русским, потому что у русских национальность определяется по отцу, а евреи не считают евреем, потому что у них национальность определяется по матери. Я – человек без национальности. Меня такая неопределенность всегда устраивала, поскольку я все равно считал все это не стоящим внимания предрассудком.

И вот я стал готовиться в университет, игнорируя свою национальную принадлежность. Я хорошо знал биологию, и моя юношеская самонадеянность убеждала меня в том, что я смогу поступить. Я стал ездить на биологические олимпиады в МГУ. На одной из них познакомился со своим сверстником – Сашей Левитовым, который несколько следующих лет оставался моим самым близким другом. Сашка жил в Москве, кто-то из его друзей был вхож в дом Петра Якира⁷ и получал оттуда «Хронику текущих событий», которая к тому времени выходила уже второй год. Так в мои руки впервые попала ХТС.

Это было потрясающее открытие! То, что передавали «голоса» или приходило с самиздатом, не шло ни в какое сравнение с тем, что было напечатано в «Хронике». Мне открылся целый мир сопротивления, солидарности, взаимовыручки. В стране была реальная политическая жизнь. А я прозябал на какой-то глухой обочине, в провинциальном подмосковном городке, вдали от интересных событий, от настоящей борьбы и верных друзей. Скорей, скорей в Москву! Быстрее окончить школу, поступить в университет и влиться в бурную жизнь, полную приключений, из которых я, конечно же, выйду победителем.

⁷ Петр Ионович Якир (1923—1982) – историк, политзаключенный, член Инициативной группы защиты прав человека в СССР.

Москва

Удар был оглушительным, но неизбежным. Провалившись в МГУ, я с горя поступил в Первый медицинский институт им. Сеченова. Но с учебой ничего не получалось.

Отношения с отцом сильно испортились. Мне было семнадцать лет, я хотел самостоятельных решений и собственной жизни, дерзил отцу, а папа бывал иногда очень вспыльчив. Кончилось это тем, что как-то поздно вечером я хлопнул дверью, прихватив только свои документы и коллекцию почтовых марок, которую собирал все школьные годы. Так я ушел из нашего дома, в который больше никогда не вернулся.

На улице шел холодный сентябрьский дождь. Промокнув до нитки и стуча зубами от холода, я добрался до вокзала, сел в электричку и через полтора часа был в Москве. Идти было некуда. Я остался ночевать в зале ожидания Курского вокзала. На деревянных скамейках почему-то разрешалось только сидеть. Тех, кто ненароком сваливался в горизонтальное положение, бдительный дежурный милиционер брезгливо трогал рукой за плечо и будил словами «Не положено». Рядом со мной пыталась спать сидя миловидная рыжеволосая девушка, и уж не помню как, но вскоре она склонила свою головку ко мне на плечо, я положил свою голову на ее, и мы так чудесно проспали до утра. После обеда мы встретились, долго гуляли по Москве. Она рассказывала о своем увлечении мотоциклами, а я рассказал, что ушел из дома. «Давно?» – спросила она. «Вчера», – ответил я. Она рассмеялась. Потом мы целовались в каком-то сквере, а вечером я посадил ее на поезд в Пермь, и больше мы никогда не виделись.

Надо было как-то выживать. Я пошел в деканат своего института хлопотать о стипендии. В деканате мне объяснили, что стипендии будут назначаться по результатам учебы за первый семестр. Тогда я попросил хотя бы общежитие, на что мне возразили, что жителям Московской области общежитие не положено – вполне можно ездить каждый день из дома в институт и обратно. Я говорил, что у меня исключительное положение, я поссорился с домашними и мне общежитие нужно, как никому другому. Декан задумался, сказал, что, конечно, не бывает правил без исключений, затем полистал мое худенькое личное дело и спросил, почему я не комсомолец. Я коротко ответил, что не хочу. Декан поглядел на меня задумчиво и сказал, что ничем помочь не может.

С учебой не складывалось. Надо было бросать институт и зарабатывать на жизнь. Университет все еще манил меня, и я решил устроиться туда на работу. Меня взяли лаборантом на кафедру биофизики биофака МГУ, которой тогда заведовал профессор Борис Николаевич Тарусов. Получал я 74 рубля в месяц. Это было чуть больше минимальной в то время зарплаты, и все бы ничего, но до первой получки еще надо было дожить. Выручало то, что из-за работы с вредными реактивами мне были положены ежедневно бесплатная бутылка молока и коржик. Кроме того, в университетской столовой белый хлеб лежал на столах бесплатно, что в те годы было большой редкостью. Таким образом, проблема питания была решена.

Дни были заняты работой и отчасти учебой – я ходил на лекции по химии и биологии, выбирая себе темы, которые мне больше нравились. Никто надо мной не висел, не следил за моей успеваемостью, и такая учеба доставляла настоящее удовольствие.

Вечера были пустые и бесплодные. Денег не было, и идти было некуда. Я слонялся по темной вечерней Москве, а в плохую погоду садился в 39-й трамвай, который ехал от университета до Чистопрудного бульвара, наверное, не меньше часа. За это время можно было не только отогреться, но и подремать, прислонившись к окну.

Хуже обстояло дело с жильем. Ночевать на кафедре не разрешалось. Идти к родственникам или знакомым не хотелось – можно ли начинать самостоятельную жизнь с просьб о помощи?

Я ночевал на вокзалах. Примелькавшись на одном, переходил на другой. Больше всего мне нравился аэровокзал на Ленинградском проспекте, там я оставался ночевать чаще всего. Скамейки были мягкими, и можно было даже прилечь, если находилось свободное место. В подвальном этаже располагались вполне приличные туалеты с холодной и горячей водой в умывальниках, и утром можно было почистить зубы, умыться и бодро шагать на работу. Вскоре я примелькался на Аэровокзале. Но меня заметила не только милиция. Промышлявшие на вокзале фарцовщики сперва просто поинтересовались, чего я здесь торчу, а затем предложили приобщиться к делу. Сначала продавать отпечатанные на фото порнографические игральные карты и покупать шмотки у иностранцев, а потом, может быть, заняться и валютой. Это были неплохие ребята, совсем не бандитского вида и без видимых криминальных наклонностей. У меня сложились с ними приятельские отношения, но от их предложения я уклонился. Они не обижались, иногда подшучивая, не созрел ли я уже для настоящего дела. Вскоре аэропортовские милиционеры начали гнать меня с вокзала, и я рассказал об этом своим фарцовщикам. Не знаю, куплены были менты или были в доле, но меня тут же оставили в покое.

А вскоре была первая получка, настоящий, за деньги полноценный горячий обед в университетской столовой и собственные сигареты «Ту-134». И первая, самая лучшая за всю мою жизнь покупка – туристские ботинки и теплые фланелевые носки! Теперь я смело ходил по мокрым московским тротуарам, больше не перепрыгивая опасливо через холодные осенние лужи. Можно было не спешить прийти на работу пораньше, чтобы развесить на батарее мокрые носки в надежде, что они высохнут до прихода сотрудников лаборатории. А вскоре распрощался я и с вокзалами, и с друзьями-фарцовщиками, и с бездомной жизнью под аккомпанемент объявлений о прибытии и отправлении поездов и самолетов. Я начал снимать квартиры, в чем немало преуспел.

Человек свободы

На юго-западе Москвы, напротив Черемушкинского рынка, по выходным дням в те годы собиралась толкучка, на которой при изрядной доле везения можно было снять комнату или квартиру. Туда я и пошел, как только у меня появились деньги.

Я сразу обратил внимание на этого человека. Ему было около тридцати, и его отличал от окружающих некоторый аристократизм. Он был не суетлив, держался спокойно и уверенно, был щегольски одет и, что самое удивительное, – благожелательно улыбался, когда с кем-то разговаривал. По тем угрюмым временам это было необычно.

Не добившись успеха в своих поисках, я поехал на следующий день на другую такую же толкучку – в Банный проезд. К женщине, которая подходила к толкучке с явным намерением что-то сдать, мы подскочили одновременно – я и тот самый человек с Черемушкинского рынка. Каждый из нас не хотел уступать другому выгодный вариант, но покладистая Надежда Ивановна, наша будущая хозяйка, сказала, что она сдаст нам, так и быть, две комнаты.

Так я познакомился с Володей Ежовым, с которым был дружен всю жизнь. Он снимал комнату для своей подруги Люси, мне же досталась проходная комната, отгороженная тяжелой шторой, зато дешевая, что при моей лаборантской зарплате было немаловажно. Дом был деревянный, он стоял на пригорке среди других деревянных домов, которых так мало уже оставалось в Москве. «Село» наше называлось Троицкое, по названию полуразрушенной церкви, стоявшей тут же, на пригорке, – и все это находилось не где-нибудь на окраине Москвы, а напротив «Мосфильма», на другой стороне Мосфильмовской улицы. Потом я переехал в отдельную комнату в соседнем флигеле, и это было чудесное место – зимой снег укутывал наш маленький домик чуть не до крыши, а весной сирень лезла в окно, и я специально открывал его, приглашая ее в дом.

Володя Ежов был человеком свободы. Он многому научил меня и многое объяснил. Володя занимался разнообразными делами. Отучившись в институте землеустройства, а затем в юридическом, он не стал работать по специальности. Был пожарным сцены в театре Станиславского, страховым агентом, бомбил на своей «Победе», а потом на старенькой *BMW* 1939 года. Водил дружбу с художниками, поэтами и актерами. Но самое главное – он был поэтом. Его стихи, которых он написал не так и много, были точны по ощущениям, мелодичны и написаны кристально чистым русским языком.

Он любил поэзию и русских поэтов. Каждое 30 мая мы втроем – он, Люся и я – ехали в Переделкино, приходили на могилу Бориса Пастернака, где Володя читал его стихи – и это надо было слышать! В те годы в день рождения Пастернака на его могилу приходило много народу. Это было местом встречи знакомых, любителей поэзии, почитателей Пастернака.

Когда меня посадили, мы на некоторое время потеряли друг друга из виду. Вернувшись из заключения, я обнаружил, что его домашний телефон изменился, и я не мог его найти. Но в ближайшее 30 мая мы с женой поехали в Переделкино и, еще не дойдя до кладбища, встретили Володю. С тех пор мы часто виделись вплоть до его смерти от сердечного приступа в 2004 году.

Он вел вольный образ жизни, оставаясь свободным человеком, не пришпиленным к государственной работе и общественному положению. Когда пала советская власть, он ездил в Австралию, где в Аделаиде жил его сын. Там он что-то строил своими руками, читал стихи и был любимцем тамошнего общества. Он был щедр и обаятелен. В какой-нибудь другой, более благополучной стране он бы прославился и был почитаем. Но не в России. Россия не ценит талантливых людей, которым очень повезло, если их не посадили, а просто не заметили.